

О возрасте женщины, как известно, говорить не принято. Но из этого правила бывают исключения — когда возраст вдруг оборачивается достоинством. И тогда снимаешь с головы несуществующую шляпу.

Тамара Владимировна Иванова — ровесница века. Она передвигается, толкая перед собой маленький столик на колесах, но у нее хорошо отполированные ногти, живые глаза и безупречная память, позволяющая цитировать наизусть целые страницы прозаического и поэтического текста.

Тамара Иванова принадлежит тому, другому, времени — когда на масленицу непременно пекли блины, за детьми ухаживала няня Мария Егоровна, а за домом домработница Дуся... Когда на обед к "милому, уютному и веселому семейству" вдруг врывался в своей огромной шубе Шкловский, а Иракий Андроников до утра потчевал друзей своими удивительными историями. Когда можно было гостить у Горького в Италии и работать вместе с Мейерхольдом.

... Она осталась одна. Живет на даче в Переделкине и слушает голоса великих своих современников, звучащие в строчках Бориса Пастернака, который почему-то назвал ее советской Жанной д'Арк: "Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет".

— Мой дед с отцовской стороны, Алексей Иванович Каширин, был купцом Первой гильдии. Сыновья и дочери купцов Первой гильдии пользовались привилегиями купеческих детей лишь до определенного возраста, потом дочки выходили замуж, а сыновья покупали себе звание. Мой отец смог заплатить только за звание подольского мещанина, поскольку звание московского стоило гораздо дороже. Вот и получается, что я — дочь подольского мещанина. По маминной же линии я — внучка крепостных крестьян.

Когда случилась февральская революция, я как раз кончала женскую гимназию. Каждая из нас обязана была перед экзаменами, после Великого поста, приносить из церкви справку, что она прошла говенье. Помню, как я выступила перед девочками и произнесла страстную речь о том, что такие справки приносить не надо, потому что это богохульство и для тех, кто верует, и для тех, кто не верует. Никого я не убедила — справку не принесли только я да моя подруга-еврейка, от которой этого документа и не требовали, поскольку она была иудейкой.

После гимназии я была принята в Художественный театр, и один из помощников Станиславского назначил меня дублировать Тарасову в молодежном спектакле "Зеленое кольцо". Но тут случился саботаж учителей начальной школы, и после воззвания партии и правительства к молодежи я по глупости решила, что театр — это неважно, а учить детей — это необходимо.

— Мой первый муж, Николай Васильевич Неврев, закончил одновременно юридический факультет Московского университета и филармонию по классу рояля. Его арестовали и репрессировали в 40-е годы, когда он работал юристом в Госбанке. А обвенчались мы в 1918 году, и вскоре я забеременела. Но будучи в то время страстной энтузиасткой большевизма, я не взяла положенный мне дорожный отпуск и продолжала ходить на работу в отдел народного образования.

Тут подросла партийная "чистка", которую я не прошла, — и в тот же день родила дочку Татьяну. А когда мои коллеги, возмущенные тем, что меня "вычистили", предлагали мне подать заявление с просьбой пересмотреть мое дело, я сказала: "Лучше умру, но такого заявления не напишу". То есть, вступив в 18-м году в партию, в 19-м я уже избавилась ото всех иллюзий и партию категорически осудила. И с тех пор меня никто никогда не мог заставить вступить в нее заново.

С Невревым мы прожили в браке четыре года. Его тетя зачем-то познакомила меня с женщиной, которая, по бытовавшим тогда в обществе определениям, была когда-то содержанкой. Но я уже в 14 лет прочитала Достоевского, и для меня она была обиженной красавицей, Настасьей Филипповной. И я не могла простить мужу, что он, будучи несколько лет моим женихом и дожидаясь моего совершеннолетия, скрывал от меня существование своей любовницы и так безжалостно ее бросил. Это послужило толчком к разводу. А после того как в моей жизни появился Бабель, жизнь с мужем и вовсе потеряла всякий смысл и стала для меня мучительной.

Из писем Исаака Бабея к Тамаре Кашириной

"Мой милый, чудный, любимый друг. У меня много дел в Киеве, потом надо будет ехать в Харьков. Если разъезды эти возьмут времени более, чем я предполагал, то в промежутке я приеду на несколько дней в Москву. Я должен это сделать потому, что в несчастливой здешней суеде, в нищем, оборванном, отвратительном этом городе я совсем перестал верить в то, что Вы были когда-нибудь со мной. Я не могу не видеть Вас так долго.

Сегодня вечером или завтра — если Вы отступите от меня маленько — я напишу лучше и подробнее. Тамара, утешение мое на земле, пишите мне каждый день. Я чувствую, что заслужил это. Я думаю об Вас с отчаянием и любовью, от которых некуда бежать..."

"... Я очень грустен в Киеве. Какая несправедливая жизнь, какие ненужные люди вокруг. Кабы я верил в Бога, я сказал бы: Боже, помоги укрепиться мне в моем отчаянии, помоги моей злобе, помоги уйти от разваливающихся этих семей, от местечковых этих редакций, от жалких прихлебателей искусства, отдай мне Каширину, Боже, и пусти меня с ней по свету!.. Но Бог высоко, Каширина далеко, и, такой печальный, я себе не нужен".

"... милая, не оставляйте меня одного. Дни мои и ночи поджариваются на уютительных углях, как скучно жить без Вас, вчера ночью шальная мысль взбрела мне на ум, ревность, мысль эта разодрала меня надвое, но я раскаялся потом. Вот и вся жизнь. Она не такова, какой ей следует быть. Я думаю о Москве, жажду Москвы, и нынешние печальные дни отзванивают, как нерадивый звонарь: не следуйте моему примеру, Каширочка. Если я застану Вас веселой, нагулявшей румянец и потерянный Вами пуд, — это будет моя радость. Как смешно я пишу, черт со мной, а с Вами Бог, любовь моя".

— С Бабелем я познакомилась, когда была актрисой театра Мейерхольда и студенткой ГВЫРМа (Государственных высших режиссерских мастерских). Учеников своих Всеволод Эмильевич заставлял тщательно "отрабатывать" свой "инструмент" — голос, тело. Мы занимались музыкой, фехтованием, боксом, акробатикой, гимнастикой, биомеханикой... Я, правда, была освобождена от речевых дисциплин, так как у меня был очень четкий голос и от природы хорошо поставленный голос. Мейерхольд приводил меня в пример: учитесь говорить у Кашириной. Но на другой день он мог сказать, и повторять такие замечания ему не приходилось: "Подите уймется, Каширина. У вас открытое симпатичное лицо, смотришь на вас и веришь, что вы сможете что-то хорошее совершить в жизни, а все эти мещанские ухищрения — накрашенные ресницы, щеки, губы — приберегите под старость, да и то в том случае, если, вопреки моим ожиданиям, из вас ничего не получится."

Театр не давал нам никаких денег, и, чтобы как-то суще-

ствовать, все мы принуждены были работать "на стороне". Большинство из нас вели драмкружки в клубах рабочей молодежи или красноармейских клубах. У меня был кружок красноармейцев из охраны Кремля.

После одного из вечерних занятий я пошла в гости к своему сослуживцу по режиссерской работе Василию Регину. Там был Исаак Эммануилович Бабель, который вызвал меня провожать.

Мы шли пешком от Красных ворот до Разгуляя, где я жила, и всю дорогу Бабель твердил мне почему-то о своей старости и о каких-то тревожных внутренних звонках, настоятельно торопящих его жить интенсивнее. Будучи всего на семь лет старше меня, он сумел внушить мне, что он и впрямь "старик".

На следующий день мы опять встретились, и на этот раз Исаак Эммануилович твердил мне уже не о своей старости, а о лошадях. Он уверял меня, что ни литература, ни искусство нисколько его не интересуют, вот лошади — дело

СОВЕТСКАЯ ЖАННА Д'АРК

Тамара Иванова:

"Я долго не соглашалась публиковать письма Бабея, потому что считала — то, что предназначалось одному человеку, не может стать достоянием всех".



другое, они якобы составляют смысл его жизни. Надо сказать, что Бабель действительно испытывал почти болезненную страсть к лошадям.

В то время я была такой своеобразной суфражисткой и считала, что любовь — это, конечно, очень важно, но без духовного единства, без внутреннего созвучия друг другу не может быть и речи о каком-то сближении. Интеллект для меня всегда стоял на первом месте — и Бабель покорила меня своим интеллектом.

Из писем Исаака Бабея к Тамаре Кашириной

"...ежели Вы в Сочи не наберетесь духа, тела и прочих составных частей беспечального человеческого существования, то я очертаю голову поступлю в партию и займусь рабковским движением... А то что же это такое — была король-баба, в нее, в король-бабу, на одном Разгуляе были влюблены три человека и все три с солидным положением, а в других окраинных местностях столицы еще двенадцать человек, и это не считая эпизодов вроде роты курсантов, трамвайных калек и ночных извозчиков. От имени многочисленных этих страдальцев я прошу, товарищ Таратута. Красная Армия, советские служащие, одинокие калеки и лица свободных профессий требуют, чтобы Вы снова стали король-баба, потому что такая же нам без вас сласть в этой жизни, где идеологии стало больше, чем кислороду!..."

"... Последняя новость: умер Давыдов. Он был великий человек. Вы знаете, как я уважал его, умирая, он сделал последнее свое доброе дело: Я не могу передать Кашириной моего таланта, — сказал великий человек, умирая, — но я завещаю ей мой объем. Такова была последняя воля последнего классического актера. Осмелюсь послушаться ее, и Вас выгонят из союза... До свидания, Таратуточка, милая дамочка, воздушная красавица, трибун моей жизни! Дайте на прощание умопомрачительную Вашу лапку, и я поцелую Ваши седины и тысячи дьяволов в Вашем ребре".

— У Бабея была такая особенность — он мог кого угодно в чем угодно убедить. Чукковский вспоминает, например, в своем дневнике, что какая-то старушка никак не отдавала ему какие-то нужные бумаги. Когда же с ним к этой старушке вызвался пойти Бабель, он сразу получил все необходимое. Исаак Эммануилович мог один и тот же рассказ напечатать во множестве изданий — и ему это сходило с рук.

После революции браком считался только тот союз, который был официально зарегистрирован в загсе. Мы с Бабелем не были зарегистрированы, хотя я родила ему сына. Он так и не развелся со своей женой, а просто отправил ее в Париж. А потом уехал туда сам, сказав мне, что едет в Брюссель навестить свою мать. И уже из Парижа известил меня о своем обмане.

Я долго не соглашалась публиковать письма Бабея, потому что считала — то, что предназначалось одному человеку,

не может стать достоянием всех. Но меня убеждали, что в письме человек выражает себя даже больше, чем в дневнике, и два года назад я опубликовала эти письма в журнале "Октябрь". Мои же письма к нему исчезли вместе с его архивом.

Из писем Исаака Бабея к Тамаре Кашириной

"... Дух мой грустен. Его надо лечить. Не тебя ли взять в доктора? Нет. Рецепт мне известен. Это — одиночество, свобода, бедность. Я медленно иду к этой цели. Ты возмущаешься этой медленностью. Тебе ли возмущаться, тебе — требующей от меня слов, которые я не люблю произносить, писем, которые я не люблю писать, поступков, которые мне противно совершать? Я тебе друг, Тамара, может быть, единственный друг. Дружба моя может выразиться в простейшей помощи и в невмешательстве. Невмешательство в мою жизнь — вот идеал, о котором я мечтаю для себя. Больше этого жалкого идеала я никому ничего не могу дать... После двух-трех человеческих писем от тебя совершенно закономерно посыпались истерические вопли. Принимая во внимание опыт прошлого, ничего другого и ждать было нельзя..."

"... Я пытаюсь работать и вижу, что я так ослабел, снизился, сделался жалок и слаб, что спастись трудно. И тут ты, не разбирая ни времени, ни места, ни обстановки, мучаешь себя и меня безостановочно, мучительно, бессмысленно... Я тебе друг, Тамара. Со мной надо помолчать. Ты не умеешь этого делать."

"Уезжая, я утаил, что старуху надо сдать в Париже. Последняя эта ложь была вызвана, как и всегда, жалостью, трусостью, невозможностью для меня наносить удары прямо в лицо... Прошу тебя не писать мне. Твои письма, я знаю, добьются меня, а я должен работать, а Мишке, единственному человеку на земле, которого я люблю, единственному человеку, не терзавшему меня непосильной для меня любовью, надо как-нибудь жить..."

Прощай, Тамара. Я хочу верить, что у тебя есть силы быть счастливой. Мне кажется, что у меня нет этих сил. Прости меня. Я буду писать тебе, если ты пообещаешь не отвечать на мои письма."

— Для меня это был тяжелый удар, но зато я разом

рассталась со своими тщетными надеждами. А

сейчас, вспоминая наши с ним отношения, я

испытываю не обиду, а наоборот, огромную к нему благо-

дарность: ведь если бы мы с ним не расстались, у меня не

было бы Всеволода Иванова, с которым мы прожили 36 лет,

и которого я считаю человеком своей жизни, и младшего

сына Комы...

Со Всеволодом я, кстати, познакомилась, когда они вместе

с Бабелем писали сценарий фильма "Китайская мельница".

Они придумывали, а я за ними записывала. Но тогда Все-

волод не обращал на меня никакого внимания. Он влюбился в

меня заочно, в Париже. Бабель стал снова просить меня от-

вечать на его письма, но мне это уже было не нужно, и он

просил Иванова уговорить меня. Всеволод был заинтригован

и, приехав в Москву, он стал приходить ко мне и вскоре объ-

яснился в любви...

Зарегистрировались мы с ним только потому, что в первую

пятилетку проводилась паспортная и выдавались

карточки. Просмотрев наши документы, управдом сказал

паспортистке: "С этим семейством я совсем свихнусь. Пос-

мотрите, одинаковые фамилии только у отца и у младшего

сына. У двух старших детей фамилии — разные, а у матери —

своя. Итого пять фамилий на одну семью". Паспортистка

задумалась и предложила Всеволоду взять всех под свою

фамилию. Он спросил, не возражаю ли я. Я ответила: "Ты же

прекрасно знаешь, что я формальностям не придаю никакого

значения, а если это необходимо человеку, который из-за

карточек способен даже, как он выражается, свихнуться, то

давай сходим в ЗАГС".

Так мы зарегистрировали свой брак и заодно оформили

фактическое отцовство Всеволода над моими старшими деть-

ми. Все были счастливы: и паспортистка, и управдом, и мы.

Всеволод Иванов был необыкновенным человеком, судь-

ба его поразительна. Я опубликовала свои воспоминания о

нем, а сейчас написала книгу. Надеюсь, что найду и издателя.

Всеволод воспитал всех моих детей, в том числе и сына Бабе-

ля. Он брал его с собой в путешествия, привил ему любовь к

старой Москве, всячески поощрял и развивал в нем талант ху-

дожника... Кажется, у Алексея Толстого есть такой пассаж:

"Жена ему кричит — иди сюда скорей! Твои и мои дети быт

наших детей!" Вот у нас было примерно так же.

Бабель видел сына в последний раз в тот день, когда

Мише исполнился год. Вернувшись из-за границы, он послал

ко мне гонцов с просьбой разрешить встречу с сыном. Но я

помнила печальный опыт Екатерины Павловны Пешковой, ко-

торая послушалась Горького и попробовала вернуться к нему.

Из этого ничего не вышло, к тому же их сын Максим не полу-

чил никакого образования. Когда они находились за границей,

Горький назначал им свидания, она брала ребенка из школы,

Горький не приходил — и в результате Максим оказался недо-

учкой, потому что у его родителей все время была путаная

жизнь... Я не желала, чтобы моего ребенка, который уже очень

любил Всеволода и звал его папой, постигла такая же участь.

Я рассказала сыну все и дала прочитать письма Бабе-

ля только тогда, когда он уже стал взрослым. А когда японка —

покупательница картин предложила ему сделать в

Японии выставку, он наотрез отказался, потому что она

спекулятивно называла его сыном Бабея, каковым он себя

никогда не чувствовал.

Из писем Исаака Бабея к Тамаре Кашириной

"Почаще присылай мне, если хочешь, карточки Миши. Наконец-то есть на Божьем свете существо, которое я люблю. Я очень его люблю. Какая грустная любовь... Она не делает мне чести, потому что это мой собственный сын. Я еще не совсем потерял веру в себя и думаю, что я поправлю ужасный нанесенный ему вред... А если не поправлю, тогда жизнь не будет мне в жизнь..."

"Пришли мне карточку мальчика. Я очень скучаю без него. Если бы я умел плакать, я бы плакал. Не надо ему говорить, что у него нет отца. Я на чужбине. Тело мое, душа моя, мозги, — все на чужбине. То, что от тебя не было писем, мучило меня все дни напролет. То, что ты сообщила мне о себе, утешило мою тревогу. Не знаю, имею ли я право написать это тебе, но мне легче будет жить теперь".

— Какое время было для меня самым счастливым? Это меня саму удивляет, но самым счастливым был месяц в Крыму, весной, перед тем как Всеволод второй раз попал в больницу. Я вовсе не являюсь почитателем платонической любви, просто так получилось, что наша любовь уже не могла быть физической, а была только платонической. Но это была любовь, о которой женщина может только мечтать...

Вы видите, что я передвигаюсь только с помощью колес. Меня лечил один психоневролог, чтобы я могла ходить без аппарата, ибо это у меня не состояние ног, а состояние нервов — вдруг мне кажется, что передо мной пропасть, и меня с ног до головы охватывает дрожь. Так вот когда он меня лечил и просил во время сеанса гипноза вспомнить самые счастливые дни в моей жизни, я вспоминала как раз ту весну. Потому что для меня это был рай на земле — цветущий Крым и бесконечная, безгрешная любовь.

Мне было 63 года, но я еще чувствовала себя абсолютно вне возраста. В моей жизни вообще есть много такого, чего я сама не понимаю: вот как можно было быть необыкновенно счастливой, зная, что он смертельно болен...

— Я очень люблю детей. Мы со Всеволодом спорили: я считала, что главное — это воспитание, а он утверждал, что наследственность. В конце концов мы оба были правы.

Вот шведы, которые сейчас вышли в лидеры по части воспитания детей, уверены, что ребенку надо давать как можно больше знаний уже начиная с детского сада. У них уже 15 лет в детских садах практикуются занятия по сексологии и этике. И шведы совершенно правы: детям надо объяснять, что все в жизни множится и размножается. Современный ребенок никогда не поверит, что его нашли в капусте, а аист у него ассоциируется разве что с зоопарком. Уж лучше бы тогда вернуться к версии об ангеле: "Он душу младую в объятиях нес для мира печали и слез..."

Мои внучка и правнучка, с которыми я сейчас живу, по крови мне чужие, они достались мне от прошлой жизни Всеволода. Но мы никогда об этом не говорим. И тут вдруг четырехлетняя девочка заявляет мне: "Бабушка, я тебя очень люблю, только ты не настоящая. Потому что моя мама зовет тебя не мамой, а Тамарой Владимировной". Представляете, уже в четыре года ум ребенка настроен на ассоциацию и обобщение.

— Бабель и Иванов были большими друзьями до того, как мы с Всеволодом стали жить вместе. Но с тех пор они друг друга буквально не могли терпеть. И даже когда мы приезжали к Горькому, а у него гостил Бабель, то его от нас прятали. Я в этом никак не виновата. Жена Пастернака Зинаида Николаевна была раньше замужем за Нейгаузом, и от Нейгауза у нее было два сына — так вот Нейгауз в доме Пастернаков всегда был самым дорогим и любимым человеком. Это естественно и нормально. Ненормально, когда сперва любишь, а потом не пускаешь на порог.

... Борис Пастернак был нашим соседом по даче и имел обыкновенные посылать мне в день моего рождения корзину белой сирени. В цветочных магазинах существовала тогда привычка добавлять к сирени еще какие-то зеленые отростки. В одной из последних корзинок, присланных мне Борисом Леонидовичем, кроме сирени и всего прочего был еще огрызок веерной пальмы. Этот огрызок Всеволод пересадил в горшок, и эта пальма до сих пор живет на нашей даче, упираясь ветвями в потолок.

В феврале 58-го года за ужином у К.Федина Борис Леонидович "угощал" всех экспромтами. Про меня он сочинил:

"За исключением Тамары Зимой и летом, — видит Бог, — Одно подобие кошмара Писательский наш городок".

— Вы спрашиваете, хотела ли бы я, чтобы моя молодость пришла на сегодняшнее время? Нет, ни в коем случае.

Но в нынешнем времени есть много удивительного. То, что сейчас пустует роддома, совершенно естественно. Но вот, что есть свободные места в Онкоцентре — это почти невероятно. Наверное, когда человек весь направлен на то, чтобы выжить, когда все его внимание переключено на экономику, его нервная система просто не способна сосредоточиться на серьезной болезни. Наверное, так.

Ирина МАМИЧЕВА.
Фото Александра АСТАФЬЕВА.